

В.В. Мароши

К именной мифологии С. Есенина

Оговоримся сразу: речь пойдет лишь о фамильном имени Есенина. С христианской и филологической точек зрения было бы слишком безответственно рассуждать о степени воздействия сакральной ауры имени преподобного Сергия Радонежского на поведение или поэтику Есенина. Это могло бы обсуждаться по поводу Клюева, но тексты сохранили только отречение, – если не от своего святого, то уж во всяком случае от мира, им созданного: «Проклинаю тебя я, Радонеж // Твои пятки и все следы! // Ты огня золотого залежи // Разрыхлял киркою воды» [ПИ, с. 65]. Постановка вопроса о сюжете уподобления / расподобления по отношению к харизматическому имени означало бы христианизацию «ангелического» Есенина или демонизацию Есенина-хулигана и кощуна. Предоставим это христиански ориентированным филологам, а сами займемся более перспективной и образно-конкретной семантикой фамилии. Нам уже приходилось отмечать несоизмеримо больший мифотворческий потенциал родового имени автора по сравнению с личным на разных этапах истории русской литературы и в разных индивидуальных поэтиках.

Как всегда первыми услышали поэтическую и реальную этимологию фамилии Есенина современники. В восприятии рапповца Ю.Н. Либединского и литературоведа И.Н. Розанова имя поэта ассоциировалось с названием времени года и имени дерева:

«Но, конечно, сильнее всего в стихах Есенина покоряла воплощенная в них поэтическая прелесть русской природы. Даже самое имя его казалось мне названием не то времени года: Осенин, Весенин, – не то какого-то цветущего куста...» [Воспоминания, 2, с. 139]; «“Ясенин” послышалось мне. Это легко осмысливалось: “Ясень”, “Ясюнинские” ...И когда через полгода я купил только что вышедшую “Радуницу”, я не без удивления увидел, что фамилия автора начинается с “е” и что происходит она не от “ясень”, а от “осень”, по-церковнославянски “есень”» [Воспоминания, 1, с. 430].

Сам поэт рифмует свою фамилию с «весенний» («Проплясал, проплакал дождь весенний, // Замерла гроза. // Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, // Подымаю глаза...» [СС, 1, с. 123], но в подтексте «Пугачева мы вычитываем и мотивацию имени «осенью»:

Мне нравится запах травы, холодом подоженной,
И сентябрьского листоleta протяжный свист.
Знаешь ли ты, что осенью медвежонок
Смотрит на луну...<...>
Чтобы смог он, дурашливый, знать
И призванье свое и имя.
.....

Я значенье мое разгадал...
[ПИ, с. 171]

Конечно, соотнести «призвание и имя» медвежонка и «значение» Пугачева с именем самого Есенина – затея рискованная, но лирическая природа поэмы это позволяет. Кроме того, в пользу рефлексии поэта о собственном имени говорит и упоминание сентября – месяца рождения Есенина (23 сентября по старому стилю). В послереволюционных автобиографиях 23 сентября используется поэтом как вариант новой даты – 3 октября. Таким образом, реальная этимология фамилии Есенина («осенний», – вероятно, родившийся «осенью / есенью») и обе даты рождения должны усиливать друг друга в персональном мифотворчестве. Добавим к этому, что октябрь стал временным рубежом новой эры, наиболее мифологизируемым месяцем советской временной модели, «лишившим биографии» не одного русского поэта. Октябрь сам превратился из времени в топос, Имя зверя, в том числе и в поэтическом обиходе Есенина:

«Теперь октябрь не тот, // Не тот октябрь теперь. // В стране, где свищет непогода, // Ревел и выл // Октябрь, как зверь, // Октябрь семнадцатого года» [СС, 1, с. 336];

«Октябрь! Октябрь! // Мне страшно жаль // Те красные цветы, что пали» [СС, 1, с. 328];

«В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему...» [СС, 3, с. 189]

Совершенно прозрачна зловещая семантика октября / сентября в «Пугачеве»:

Там в окно твое тополь стучится багряными листьями,
Словно хочет сказать он хозяину в хмурой октябрьской поре,
Что изранила его осень холодными меткими выстрелами.
Как же сможешь ты тополю помочь?
Чем залечишь ты его деревянные раны?
Вот такая же жизни осенняя гулкая ночь
Общипала, как тополь зубами дождей, Емельяна.
[ПИ, с. 186]

Не пора ли тебе, Емельян, сложить
Перед властью мятежную голову?!
Все равно то, что было, назад не вернешь,
Знать, недаром листвою октябрь заплакал...
[ПИ, с. 189]

Как скелеты тощих журавлей.
Стоят ощипанные вербы,
<...>
Уж золотые яйца листьев на земле
Им деревянным брюхом не согреть,
Не вывести птенцов – зеленых вербенят,
По горлу их скользнул сентябрь, как нож,
И кости крыл ломает на щепняк
Осенний дождь.
Холодный, скверный дождь!
[ПИ, с. 169]

Во всех приведенных контекстах гибель лирического героя или разрушение органического мира, с которым он неразрывно связан, орнаментирована свернутой или развернутой топикой древесных образов и встроена в эксплицитированную «осеннюю» семантику («осень», «осенний»). Той же смертоносной метафорикой

маркированы эти месяцы в лирике:

«Злой октябрь осыпает перстни // С коричневых рук берез» [СС, 2, с. 77];

«То ль, как рошу в сентябрь, // Осыпает мозги алкоголь» [СС, 2, с. 288];

«Оттого-то в сентябрьскую склень // На сухой и холодный суглинок, // Головой разmozжась о плетень, // Облилась кровью ягод рябина» [СС, 2, с. 81];

«Знать, только ивовая медь // Нам в сентябре с тобой осталась. // ...Ведь не осталось ничего. // Как только желтый тлен и сырость» [СС, 1, с. 179].

Традиционная топика философской и любовной элегии обретает в стихах Есенина второе дыхание, соотносясь с состоянием лирического героя, его растительно-древесным увяданием:

«Что мне в том, что сумеет Емельян скрыться в Азию?

<...>

Все равно ведь и новые листья падут и покроются грязью.

Слушай, слушай, мы старые листья с тобой!

Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях?

[ПИ, с. 186]

Скоро белое дерево срнит // Головы моей желтый лист» [СС, 1, с. 276];

«И мне – чем сгнивать на ветках – // Уж лучше сгореть на ветру» [СС, 1, с. 198];

«По-осеннему кычет сова // Над раздольем дорожной рани. // Облетает моя голова, // Куст волос золотистый вянет. // <...>По-осеннему сыплет ветер, // По-осеннему шепчут листья» [СС, 1, с. 137];

«И золотеющая осень, // В березах убавляя сок, // За всех, кого любил и бросил, // Листовою шпачет на песок» [СС, 1, с. 211];

«Срежет мудрый садовник осень // Головы моей желтый листок» [ПИ, с. 78]

Есенин находит заново прочувствованное, порожденное самосозидающей энергией имени «осеннее письмо», точнее, речь Осени: «Отговорила роща золотая // Березовым, веселым языком // <...> Как дерево роняет тихо листья, // Так я роняю грустные слова // <...>...роща золотая отговорила милым языком» [СС, 1, с. 190].

Однако отрешенно-философское приятие неизбежности смерти всего живого соседствует с отчаянным криком, ужасом перед «страшным вестником», ощущением неизбежности страшного греха. Этот полюс осеннего мира находится в силовом поле осеннего ветра с сопутствующей ему мотивикой (рябь, свист, холод):

«И желтый ветер осенницы // Не потому ль, синь рябью тронув, // Как будто бы с коней скребницей, // Очесывает листья с кленов. // Идет, идет он, страшный вестник, // Пятой громоздкой чащи ломит» [СС, 2, с. 80];

«Осенний холод ласково и кротко // Крадется мглой к овсяному двору...Кого-то нет, и тонкогубый ветер // О ком-то шепчет, сгнувшем в ночи» [СС, 1, с. 81];

«Вот она, невеселая рябь // С журавлиной тоской сентября! // <...> кто-то сгиб, кто-то канул во тьму<...> // О погибших во мраке плечах» [СС, 1, с. 82];

«Это осень, как старый оборванный монах, // Пророчит кому-то о гибели вещи» [ПИ, с. 173];

«Но и я кого-нибудь зарежу // Под осенний свист» [СС, 1, с. 76].

Демонизированная осень становится полноправным персонажем-двойником, вытесняющим лирического героя и разрушающим его родное пространство:

Что случилось? Что случилось? Что случилось?

Кто так страшно визжит и хохочет

В придорожную грязь и сырость?

Кто хихикает там исподтишка,
 Злобно отплеываясь от солнца?

 Ах...Ах, это осень!
 Это осень вытряхивает из мешка
 Чеканенные сентябрем червонцы.
 Да! Погиб я!
 Приходит час...
 Мозг, как воск, каплет глухо, глухо...
 ...Это она!
 Это она подкупила вас,
 Злая и подлая оборванная старуха.
 Это она, она, она,
 Разметав свои волосы зарею зыбкой,
 Хочет, чтоб сгибла родная страна
 Под ее невеселой холодной улыбкой
 [ПИ, с. 189-190]

Поэтому возможная гибель Емельяна Пугачева как «альтер эго» Есенина неожиданно становится торжеством осени:

«Конец его злобному волчьему вою. // Будет ярче гореть теперь осени медь» [ПИ, с. 190].

В разветвленной теме умирания / увядания органика имени порождает и встречный вектор возрождения, цветения (Есенин как «весенний»). Однако тропы, казалось бы, порождаемые весенним миром, меняют свою семантику под воздействием общего «осеннего» контекста. Так, например, прощается с весной / юностью Пугачев:

«Юность, юность! Как майская ночь, // Отзвенела ты черемухой в степной провинции» [ПИ, с. 190].

Таким же образом в лирике Есенина большинство упоминаний весенних месяцев, цветения деревьев, кустарников, первого тепла и т.п. встраиваются на уровне семантики в предикацию дистанцирования, разрыва, оплакивания прошлого и т.п.:

«Даже яблонь весеннюю вьюгу // Я за бедность полей разлюбил» [СС, 1, с. 340];

«Сегодня цветущая липа // Напомнила чувствам опять, // Как нежно тогда я сыпал // Цветы на кудрявую прядь» [СС, 1, с. 345].

«Весенний» зачин стихотворения «Синий май. Заревая теплынь...» – развернутой перифразы блоковского «О, весна без конца и без краю...» оборачивается элегической-идиллической концовкой («Мир тебе, отшумевшая жизнь, // Мир тебе, голубая прохлада» [СС, 1, с. 191]. Привычное для реального обозначения весны цветение яблони в «Не жалею, не зову, не плачу...» меняет свою семантику в тропе и становится частью лирико-элегического образа: «Все пройдет, как с белых яблонь дым. // Увядаешь золотом охваченный, // Я не буду больше молодым. // <...> Все мы, все мы в этом мире тленны, // Тихо льется с кленов листьев медь...» [СС, 1, с. 149]. Конечно, Есенин пытался и «писать весной»: «Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка – // Но косою выводят строчки хоть куда. // Под весенним солнцем, под весенней тучкой // Их читают люди всякие года» [СС, 1, с. 343], но он был и остается в восприятии как массового читателя, так и филологического сообщества трагическим поэтом, ведь осень – неоспоримый элемент «трагического модуса литературы», кто бы ни принимался его конструировать.

Вероятно, негативная энергия собственного имени была сильнее. Иначе трудно объяснить, почему Есенин намеревался назвать свой последний сборник

стихов «Рябиновый костер» (так в прижизненном издании был назван последний раздел «Персидских мотивов»). Эта метафора уже была использована поэтом в конструировании (да простят мне поклонники Есенина) завораживающе яркого («в багрец и золото»), но остывающего мира осени: «В саду горит костер рябины красной, // Но никого не может он согреть» [СС, 1, с. 190].

Одним из предельных смыслов позитивной энергии все той же внутренней сущности поэтического имени стало уподобление Христу. Скорее всего это подробно обсуждалось в дружеских разговорах с Р. Ивановым-Разумником, поскольку стихотворение «Осень» было опубликовано в первом сборнике «Скифов» с посвящением идеологу скифства:

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень – рыжая кобыла – чешет гриву.
<...>

Схимник – ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным
И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримо Христу.
[СС, 1, с. 59]

Однако в привычной для нас системе лирических ролей Есенина-имажиниста и «постимажиниста» *imitatio Christi* угадывается разве что в облике юродства. Зато запоздалое плавание Сергея Александровича в кильватере «Осени» Александра Сергеевича достаточно очевидно и несомненно благотворно:

«О, возраст осени! Он мне // Дороже юности и лета». [СС, 1, с. 175];

«Это золото осеннее. // Эта прядь волос белесых – // Все явилось, как спасенье // Беспокойного повесы» [СС, 1, с. 177];

«Ведь моя отрада – // Что вовек я любил не один // И калитку осеннего сада, // и опавшие листья рябин» [СС, 1, с. 218];

В этом мире я только прохожий, // Ты махни мне веселой рукой. // У осеннего месяца тоже // Свет ласкающий, тихий такой» [СС, 1, с. 220].

Последние осенние контексты удивительно гармоничны, пронизаны золотым светом. Осень в стихах 1925 г. – солнце нежного и мудрого мира спасения и покоя. Что произошло осенью того года, как победил «черный человек» золотого, пытались понять многие. Мы же сделали попытку обратить внимание на возможность построения именной версии органической мифопоэтики Есенина.

Литература

Воспоминания – С.А. Есенин в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1986.

ПИ – Поэты – имажинисты. СПб., 1997.

СС – Есенин С.А. Собрание сочинений в трех томах. М., 1970.